

Пролог

Это случилось в тот день, когда умер Дога.

Мне было шестнадцать лет, Карлу — пятнадцать.

За несколько дней до этого папа показал мне охотничий нож, которым я потом и убил Дога. У ножа было широкое лезвие с насечками, блестящее на солнце. Отец сказал: насечки для того, чтобы по ним стекала кровь, когда добычу разделываешь. Карл побледнел, и папа спросил, не укачало ли его опять. По-моему, именно в тот момент Карл вбил себе в голову, что ему непременно надо кого-нибудь подстрелить — все равно кого — и разделить, разрезать на отстойные мелкие кусочки, надо значит надо.

— А потом я его зажарю, и мы съедим, — сказал он, когда мы стояли возле амбара, а я ковырялся в двигателе папиного «кадиллака-девилль», — он, мама и мы с тобой. Ладно?

— Ладно. — Я повернул распределитель, стараясь отыскать точку завода.

— И Догу тоже дадим, — добавил он, — на всех хватит.

— Ясное дело, — поддакнул я.

По словам папы, он дал Догу такое имя, потому что в спешке не придумал ничего получше. Но мне кажется, это имя он просто обожал. Оно сообщает о своем владельце лишь самое необходимое и звучит так по-американски, как это бывает только с норвежскими именами. И в псине отец тоже души не чаял. Подозреваю, он охотнее бы с ней время проводил, чем с людьми.

Ферма наша в горах, может, и небогатая, но тут шикарные виды и природа — этого вполне достаточно, чтобы папа называл ее своим королевством. Копаясь день за днем в «кадиллаке», я наблюдал, как Карл бродит по округе, захватив с собой отцовскую собаку, отцовское ружье и отцовский нож. Я видел, как фигурка брата превращается в крапинку на заснеженном горном склоне. Вот только выстрелов никаких я не слышал. Вернувшись на ферму, Карл вечно говорил, что птиц не попадалось, я тоже помалкивал, хоть и видел, как там, где бродили Карл с Догом, одна за другой взлетают куропатки.

А потом в один прекрасный день выстрел все-таки прогремел.

Я вздрогнул так, что ударился башкой о крышку капота. Вытер машинное масло и взглянул на поросший вереском склон горы. Эхо покатилося дальше, будто гром, к деревне на берегу озера Будагсваннет. Минут через десять я увидел бегущего Карла. Приблизившись к дому на некоторое расстояние, он сбавил скорость — видимо, не хотел, чтобы его увидели мама с папой. Дога с ним не было. И ружья тоже. Догадываясь, что произошло, я двинулся ему навстречу, а он, заметив меня, развернулся и медленно побрел в обратном направлении. Когда я нагнал Карла, щеки у него были мокры от слез.

— Я попытался, — всхлипывал он, — они прямо перед нами взлетели, их так много было, и я прицелился, но не получалось, и все тут. Но я подумал: надо, чтоб вы услышали, что я, по крайней мере, попытался, поэтому я опустил ствол и выстрелил. Потом птицы разлетелись, я посмотрел вниз, а там Дог лежит.

— Он умер? — спросил я.

— Нет, — Карл заплакал сильнее, — но он... он умирает. У него из пасти кровь течет и глаза в кучку. Он скулит и трясется.

— Побежали, — сказал я.

Спустя несколько минут мы были на месте, и я увидел, как в кустах что-то дернулось. Хвост. Хвост Дога — пес нас учуял. Мы остановились рядом с ним. Глаза у собаки были похожи на раздавленные яичные желтки.

— Он не жилец, — заключил я. Ветеринар я не сказать чтоб особо прошаренный — до ковбоев в вестернах мне далеко, но даже если б Дог каким-то волшебным образом и выжил, то жизнь у слепой охотничьей такая, что не позавидуешь. — Придется тебе пристрелить его.

— Мне? — выкрикнул Карл, будто не понимая, как это я вообще додумался предложить, чтобы он, Карл, лишил кого-то жизни.

Я посмотрел на него. На моего младшего брата.

— Давай нож, — скомандовал я.

Он протянул мне отцовский охотничий нож.

Я положил руку Догу на голову, и тот лизнул меня в подмышку. Ухватив его за кожу на затылке, я полоснул ножом по горлу, но чересчур осторожно, поэтому ничего не произошло. Дог лишь дернулся. У меня получилось только с третьей попытки. Бывает, разрежешь пакет с соком слишком низко — и сок выплескивается наружу. Так было и сейчас:

кровь будто не могла дожидаться, когда же ее выпустят.

— Ну вот...

Я разжал пальцы, и нож упал в вереск. Насечки были полны крови, и я подумал, что, может, брызги и на лицо мне попали, потому что по щекам текло что-то теплое.

— Ты плачешь, — сказал Карл.

— Отцу не рассказывай, — попросил я.

— Что ты плакал?

— Что ты не смог убить... не смог ему горло перерезать. Скажем, что решили мы вместе, но сделал это ты. Ладно?

Карл кивнул:

— Ладно.

Тело собаки я взвалил на плечо. Оно оказалось тяжелее, чем я думал, и все время сползало то назад, то вперед. Карл вызвался было мне помочь, но, когда я отказался, посмотрел на меня с явным облегчением.

Я опустил пса на землю перед дверью в амбар и, войдя в дом, позвал папу.

Пока мы шли к амбару, я выложил ему придуманную версию случившегося. Ничего не сказав, отец опустился на корточки возле своей собаки и кивнул, словно нечто подобное предвидел, вроде как он сам во всем и виноват. Потом он встал, поднял мертвого пса и забрал у Карла ружье.

— Пошли. — Он направился наверх, на сеновал.

Дога он положил на сено, встал на колени, наклонился и пробормотал что-то — было похоже на куплет из американского псалма. Я смотрел на отца. Я всю свою короткую жизнь смотрел на него, но таким никогда не видел. Разбитым всмятку. Да, так он и выглядел.

Он повернулся к нам, по-прежнему бледный, но губы больше не дрожали, а во взгляде было прежнее спокойствие.

— Вот мы и остались одни, — сказал он.

Так оно и было. Хотя папа никогда никого из нас не бил, Карл рядом со мной съезжился. Отец погладил дуло ружья.

— Кто из вас... — Он умолк, подбирая слова, и все поглаживал дуло. — Кто из вас... перерезал глотку моей собаке?

Карл испуганно кивал, будто заведенный. А затем открыл рот.

— Карл, — ответил я, — но это я ему велел, я сказал, что он сам должен это сделать.

— Вон оно как... — Папа перевел взгляд с Карла на меня и обратно. — Знаете что? Сердце мое плачет. Оно плачет, и утешение у меня осталось лишь одно. Знаете какое?

Мы молчали, потому что, когда папа задает такие вопросы, ответа он не ждет.

— У меня двое сыновей, и сегодня они показали себя мужчинами — вот мое утешение. Они берут на себя ответственность и принимают решения. Муки выбора — известно вам, что это такое? Когда сам выбор причиняет тебе мучения, а не то, что выбираешь. Когда знаешь — что бы ты ни выбрал, потом все равно будешь ворочаться ночами и ломать голову, правильный ли выбор сделал. Вы могли бы ничего не решать, но вступили в схватку с выбором. Оставить Дога мучиться или позволить ему умереть и сделаться убийцами. Чтобы не спасовать перед таким выбором, нужно мужество, — он вытянул свои огромные руки и положил одну мне на плечо, а вторую — на плечо Карла; его голосу проповедник бы позавидовал, — и наша способность выбрать не путь безволия, а путь высшей морали как раз

и отличает человека от животных. — В глазах у него блеснули слезы. — Да, я раздавлен, но вами, ребята, я горжусь.

Высказывание это было не только трогательным — я не мог припомнить, чтобы отец когда-нибудь был таким многословным. Карл захлюпал носом, да и у меня к горлу комок подкатил.

— А сейчас пойдете расскажем обо всем маме.

Этого нам не хотелось. Когда отец забивал козу, мама надолго уходила и возвращалась всегда с покрасневшими глазами.

По дороге к дому папа приостановил меня, так что Карл оказался чуть впереди.

— Пока мы ей не рассказали, лучше тебе хорошенько руки вымыть, — сказал он.

Я поднял взгляд, готовый принять на себя удар, но лицо у отца было добрым и слегка отстраненным. А затем он погладил меня по голове. На моей памяти он никогда этого не делал. И позже не делал тоже.

— Мы с тобой, Рой, ты и я, мы похожи. Мы сильнее таких, как мама и Карл. Поэтому должны о них заботиться. Всегда. Понимаешь?

— Да.

— Мы семья. Больше нам никто не поможет. Ни друзья, ни любимые, ни соседи, ни односельчане, ни государство — все это обман, и, когда станет совсем туго, ни хрена они не сделают. Тогда мы окажемся против них. Мы против всех и каждого. Ясно?

— Да.

Часть I

1

Я сперва услышал его и лишь потом увидел.

Карл вернулся. Не знаю, почему я вспомнил Дога, с тех пор двадцать лет прошло, но, возможно, я заподозрил, что внезапным возвращением Карла я обязан тому же, что и в тот раз. Что и всегда. Хочет, чтобы старший братец помог ему. Я стоял во дворе, поглядывая на часы. Половина третьего. Он прислал мне сообщение и этим ограничился, сказал, что подъедет к двум. Однако мой младший братишка всегда был оптимистом и обещал чуть больше, чем делал. Я обвел взглядом окрестности. Те, что не заволокло туманом. Горный склон по другую сторону долины словно высывался из серого моря. Деревья там, наверху, уже становились по-осеннему красноватыми. Небо надо мной было синим и ясным, как взгляд невинной девушки. Воздух чистый и вкусный, и если я резко вдыхал его, то в легких покалывало. Казалось, будто, кроме меня, в мире никого нет и целый мир в моем распоряжении. Хотя скорее не вот прямо весь мир, а гора Арарат и ферма на ней. Порой туристы поднимаются по извилистой дороге из деревни, чтобы посмотреть,

какой отсюда открывается вид, и тогда они рано или поздно оказываются у меня во дворе. И часто спрашивают, сажаю ли я что-нибудь в огороде. Придурки называют мою ферму огородом, потому что, видать, думают, что настоящая ферма — это такая, как в долинах, с огромными полями, амбарами-переростками и здоровенными, бросающимися в глаза домами. Они не представляют, во что буря в горах способна превратить излишне высокую крышу или чего стоит протопить просторное помещение, когда за окном минус тридцать и ветер. Они не соображают, чем возделываемая земля отличается от пастбища, не знают, что высокогорная ферма — это прежде всего пастбище для скота, настоящее пустынное королевство, намного более привольное, чем золотые от зерновых поля — предмет тщеславной гордости низинных фермеров.

Я пятнадцать лет жил тут один, но теперь моему одиночеству, получается, пришел конец. Внизу, в тумане, заревел восьмицилиндровый двигатель — довольно близко, значит, они уже проехали Японский поворот в середине дороги. Водитель давил на газ, потом резко сбавлял ход, поворачивал на следующий виток серпантина и снова давил на газ. Ближе и ближе. Было очевидно, что с этими поворотами он знаком. А сейчас, вслушиваясь в шум мотора, в глубокие вздохи, когда водитель газовал, низкое бурчание, свойственное лишь «кадиллакам», я узнавал «девилей». Такой же, как та здоровенная отцовская колымага. Ну, ясное дело.

Наконец из-за Козьего поворота показалась сердитая решетчатая морда «девиля». Черный, но модель поновее, по моим прикидкам — года 1985-го. А звук, ты глянь, такой же.

Машина остановилась около меня, и стекло возле водительского сиденья опустилось. Я надеялся, что

мне удалось не подать виду, но сердце мое взволнованно отштамповывало ритм. Сколько за эти годы отправили мы друг другу писем, эсэмэсок и мейлов? Сколько раз перезванивались? Немного. И тем не менее ни единого дня не проходило, чтобы я не думал о Карле. Так и есть. Но лучше уж тосковать по нему, чем разгребать Карловы проблемы. Он постарел — это первое, что бросилось мне в глаза.

— Прошу прощения, господин хороший, это ферма знаменитых братьев Опгард?

И он широко улыбнулся. Улыбнулся своей доброй, неотразимой улыбкой, которая словно стерла с его лица все эти годы, а календарь перелистнулся на пятнадцать лет назад. Вот только взгляд был каким-то выжидающим, как будто Карл проверял, стоит ли заходить в воду. Мне улыбаться не хотелось. Пока еще рано. Но удержаться не получилось.

Дверца распахнулась. Он раскинул руки и принял меня в свои объятия. Что-то подсказывало мне, что надо бы наоборот: это я, старший брат, должен распахнуть объятия тому, кто вернулся в родовое гнездо. Однако по пути наши с Карлом роли утратили ясность. Он вырос крупнее меня — и телом, и как личность, — по крайней мере, когда мы оказывались в компании других людей, тон задавал Карл. Я прикрыл глаза, вздрогнул и втянул носом воздух, запах осени, «кадиллака» и моего младшего братишки. От него пахло, как это называется, мужским парфюмом.

Пассажирская дверца открылась.

Карл выпустил меня из объятий и, обойдя длинный капот, подвел к девушке, вставшей лицом к долине.

— Здесь очень красиво, — проговорила она.

Фигурка маленькая и щуплая, зато голос низкий. Говорила она с акцентом и с интонацией ошиб-

лась, ну хоть по-норвежски, и то ладно. Интересно, не по пути ли сюда она эту фразу отрепетировала — решила небось, что непременно ее произнесет, даже если думать будет иначе. Потом она повернулась ко мне и улыбнулась. Первое, что я увидел, — это белое лицо. Не бледное, а белое как снег, который отражает свет, так что контуры разглядеть сложновато. Второе — это веко. Веко на одном глазу было опущено, точно штора, как будто девушка наполовину спала. Но другая половина казалась вполне бодрой. Из-под коротенькой огненно-рыжей челки на меня смотрел живой карий глаз. На девушке было простое черное пальто, даже не приталенное, да и под пальто никаких особых форм не угадывалось. Из-под него выглядывал высокий воротник черного свитера. Если особо не вглядываться, то ни дать ни взять парнишка, сфотографированный на черно-белую пленку, только волосы потом раскрасили. Женщин себе Карл выбирал тщательно, поэтому я, честно сказать, слегка удивился. Не то чтобы она уродина была, нет, вполне себе миленькая, но красивой бабенкой, как у нас тут говорят, ее не назовешь. Она по-прежнему улыбалась, зубы на фоне кожи выделялись не очень, потому что тоже были белые. И Карл у нас белозубый, всегда такой был в отличие от меня. Он еще все юморил, мол, это потому, что он улыбочивый, вот зубы на солнце и выгорели. Может, эти двое и выбрали друг дружку благодаря зубам? Да и вообще они похожи были. Правда, Карл высокий и плотно сбитый, однако сходство я сразу углядел. В обоих было нечто — как там это называется — жизнеутверждающее. Нечто радостное, будто они жаждут видеть в окружающих и в самих себе только самое лучшее. Впрочем, чего это я разошелся, я же даже незнаком с этой девчонкой-то.

— Это... — начал Карл.

— Шеннон Аллейн, — прозвучал альт, и она протянула мне руку, такую крошечную, прямо как куриная лапка.

— Опгард, — гордо добавил Карл.

Шеннон Аллейн Опгард сжимала мою руку дольше, чем мне того хотелось. В этом я тоже узнал Карла. Некоторые желают нравиться другим.

— Джетлаг? — спросил я и сразу же пожалел, почувствовав себя идиотом. Не потому, что я не знаю, что такое джетлаг, просто Карлу-то известно, что я в других часовых поясах сроду не бывал, поэтому ответ для меня все равно прозвучит бессмысленно.

Карл покачал головой:

— Мы два дня назад приземлились. Машину ждали — она паромом пришла.

Я кивнул и взглянул на номера. МС. Монако. Экзотика, но не настолько, чтобы просить его отдать мне номерной знак, когда Карл решит перерегистрировать машину. На заправке, у меня в кабинете, висят старые автомобильные номера Французской Экваториальной Африки, Бирмы, Басутоленда, Британского Гондураса и Джохора. Не комар чихнул.

Шеннон перевела взгляд с Карла на меня и снова на Карла. Улыбнулась. Уж не знаю чему, может, ей просто приятно было, что Карл со своим старшим братом, единственным его близким родственником, смеются. И что едва заметное напряжение исчезло. Что его — что их — с радостью примут в родном доме.

— Покажешь Шеннон дом, пока я чемоданы вытаску? — спросил Карл и открыл, как папа называл его, *задок*.

— Пока вытаскиваешь, как раз весь дом и покажу, — пробормотал я, и Шеннон зашагала следом.

Мы обогнули дом с северной стороны и подошли к главному входу. Честно говоря, не знаю, почему папа не сделал дверь со стороны двора и дороги. Может, потому, что любил каждое утро смотреть на наши пастбища. Или потому, что лучше уж солнечной пусть будет кухня, а не коридор. Мы перешагнули через порог, и я открыл первую из трех дверей в коридоре.

— Кухня, — сказал я и заметил вдруг, как сильно тут пахнет прогорклым жиром. Неужто здесь всегда так?

— Чудесно! — восхитилась она.

Ну, вообще-то, я слегка прибрался и даже пол помыл, но «чудесно» от этого там не стало. Вытащив глаза и, кажется, слегка встревоженно она оглядела трубу, которая тянулась от печки к выпиленной в потолке дыре и уходила на второй этаж. Вокруг трубы был оставлен зазор, чтобы доски не загорелись, причем отверстие было таким круглым, что папа называл его столярным шедевром. Шедевров таких на ферме три штуки — эта и еще две такие же круглые дыры в уличном сортире.

Я щелкнул выключателем — показать, что у нас тут, несмотря ни на что, имеется электричество.

— Кофе? — предложил я и открыл кран.

— Спасибо, лучше чуть позже.

По крайней мере, вежливые фразы освоила.

— Тогда для Карла сварю.

Я открыл дверцу шкафа, порылся внутри и вытащил кофейник. Я, между прочим, настоящий молотый кофе купил впервые за... за долгое время. Мне самому и растворимого хватало. Я сунул кофейник под кран и понял, что по привычке открыл горячую воду. Уши у меня запылали. Но кто, собственно, сказал, что растворимый кофе, залитый горячей водой из-под крана, — это тоска

зеленая? Кофе — он и есть кофе, а вода — она и есть вода.

Я поставил кофейник на плиту, повернул выключатель и, сделав два шага, оказался в одной из двух комнат, между которыми воткнулась кухня. С западной стороны расположилась столовая, зимой запертая и таким образом защищавшая дом от западного ветра, так что ели мы в это время на кухне. На восточную сторону выходили окна гостиной, где у нас стояли шкафы с книгами, телевизор и еще одна печка. С юга же папа соорудил помещение, ставшее единственной в нашем доме изюминкой, — застекленную террасу, которую он сам называл балконом, а мама — зимним садом, хотя зимой, ясное дело, террасу запирали, а ставни там закрывали. Зато летом папа частенько сидел там, посасывая снюс «Берри» и выпивая пару «Будвайзеров» — иногда он и такую слабость себе позволял. За этим бесцветным американским пивом он ездил в город, а порционный жевательный «Берри» ему один наш американский родственник аж из-за океана присылал. Папа довольно рано объяснил мне, что, в отличие от шведского дерьмеца, американский снюс во время обработки проходит процесс брожения, поэтому и вкус чувствуется. «Это как бурбон», — говорил папа. По его словам, норвежцы употребляют шведское дерьмецо только оттого, что ничего не понимают. А вот я теперь понимаю, поэтому когда начал жевать снюс, то сразу «Берри». Мы с Карлом обычно подсчитывали пустые бутылки, которые папа ставил на подоконник. Мы знали, что выпей он больше четырех — вполне может зареветь, а видеть своего отца плачущим никому неохота. И если подумать, наверное, поэтому я редко выпиваю больше чем пару пива. Не хочу разреветься. Карл от спиртного

делался веселым, поэтому ему ограничивать себя не приходилось.

Я думал об этом, пока мы поднимались по лестнице, но вслух ничего не сказал. Я показал Шеннон большую спальню, которую папа называл «the master bedroom»¹.

— Фантастика, — похвалила она.

Потом я продемонстрировал ей новую ванную, — вообще-то, она не особо новая, но в доме у меня ничего новее все равно нет. Расскажи я ей, что выросли мы без ванной, она, наверное, не поверила бы мне. А ведь мылись мы на кухне и воду грели на печке. Ванная появилась после того, как появилась дорога. Если написанное Карлом правда, что она родом с Барбадоса, из семьи, у которой хватило денег отправить ее в колледж в Канаде, ей, разумеется, будет сложно представить, каково это — зима, холодрыга, а вы с братом стоите над корытом и моетесь в одной воде одновременно. Зато у папы, как это ни удивительно, во дворе стоял «кадиллак-девилль», машина шикарная, даже чересчур.

Дверь в нашу с Карлом спальню, видать, рассохлась, и я с силой дернул за ручку. В нос нам ударил поселившийся в спертom воздухе запах воспоминаний, какой бывает в платяном шкафу со старой одеждой, о которой давным-давно позабыли. У одной стены стоял письменный стол, а с двух его сторон, друг против друга, два стула. У противоположной стены — двухъярусная кровать во всю стену, а ближе к изножью кровати из пола торчала труба — та, что тянулась из кухни.

— Вот тут мы с Карлом жили, — сказал я.

Шеннон кивнула на кровать:

— И кто спал наверху?

¹ «Хозяйская спальня» (англ.).

— Я, — ответил я, — потому что я старший. — И провел пальцем по пыльной спинке стула. — Сегодня сюда перееду. А большая спальня тогда ваша.

Она испуганно уставилась на меня:

— Но, Рой, дорогой, мы же не хотели...

Я старался смотреть на ее открытый глаз. Карие глаза, когда у тебя рыжие волосы и белая кожа, — это как-то странновато, нет?

— Вас двое, а я один, так что все путем. Пойдет? Шеннон снова обвела взглядом комнату.

— Спасибо, — поблагодарила она.

Я вышел и прошел вперед, в комнату мамы с папой. Тут я хорошенько проветрил. Как бы от людей замечательно ни пахло, мне такие запахи не нравятся. Кроме как у Карла. Запах у Карла если и не приятный, то правильный. От него пахнет мной. Нами. Зимой, когда Карл болел — а это то и дело случалось, — я ложился к нему под бок. И запах у него был такой же, как обычно, хоть кожа и была в засохшей испарине, а изо рта пахло рвотой. Я вдыхал запах Карла и, дрожа, прижимался к его раскаленному телу, восполняя тепло, которого моей собственной тушке так недоставало. Когда у одного жар, для другого это вроде печки-буржуйки.

Шеннон подошла к окну и посмотрела наружу. Пальто она не расстегивала — ей, видать, в доме было холодно. В сентябре. Чего же тогда зимой-то ждать? Я слышал, как Карл затаскивает чемоданы наверх по узенькой лестнице.

— Карл говорит, вы небогатые, — сказала она, — но все, что видно из окна, принадлежит тебе и ему.

— Так и есть. Но это ж все пастбище.

— Пастбище?

— Эта земля не обрабатывается, — на пороге, улыбаясь и отдуваясь, стоял Карл, — тут разве что овец с козами пасти можно. На горных фермах мало

чего вырастишь. Как видишь, тут и деревьев негусто. Но мы горизонт оживим. Что скажешь, Рой?

Я медленно кивнул. Медленно — так, как, помнится, кивали взрослые фермеры в моем детстве, и я еще думал, будто внутри, за их морщинистыми лбами, происходит столько всего сложного, что нашего убогого сельского языка просто не хватает, чтобы это выразить. К тому же казалось, что они друг дружку и без слов понимают, эти взрослые кивающие мужчины, иначе почему если один закивает, то вскоре и другой кивать принимается? А теперь я и сам так же медленно киваю. Вот только соображаю я не намного лучше, чем тогда.

Я, естественно, мог бы спросить Карла напрямую, но ответа все равно не дождался бы. Ответами он меня засыпал бы, но честного ответа я бы не получил. И возможно, мне он и не требовался, я был лишь рад, что Карл вернулся, и не собирался задалбывать его этим вопросом. С чего ему вообще вздумалось вернуться?

— Рой такой добрый, — сказала Шеннон, — поселил нас в этой комнате.

— Ты же вряд ли собирался жить в детской, — сказал я.

Карл кивнул. Медленно.

— У меня для тебя подарок не такой шикарный. — Он протянул мне здоровенную коробку.

Что в ней, я понял сразу. Американский порционный снюс.

— Черт, как же я рад тебя видеть, братишка...

Голос у Карла сорвался, а сам он подошел и обнял меня. На этот раз по-настоящему. Я тоже его обнял. Он стал мягче и рыхлее. Карл прижался ко мне щекой, слегка царапнув щетиной по коже, хотя он явно недавно брился. Пиджак шерстяной, на ощупь плотный и приятный. И рубашка — их он

вообще прежде не носил. Даже речь изменилась, теперь он говорил как горожанин. Когда-то мы с ним, подражая маме, тоже пытались так говорить.

Но ничего страшного в этом не было. Пахло от него как прежде. Он пах Карлом. Отстранившись, он оглядел меня. В его по-девчоночьи красивых глазах блестели слезы. Черт, да у меня самого глаза тоже были на мокром месте.

— Я там кофе затеял, — сказал я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, и зашагал к лестнице.

Тем вечером, улегшись спать, я прислушивался. Сейчас, когда в доме опять люди, зазвучит ли он иначе? Но нет. Дом, как обычно, поскрипывал, побряхтывал и посвистывал. Еще я прислушивался к голосам в хозяйской спальне. Слышимость тут хорошая, поэтому, хотя между нашими комнатами и была ванная, голоса я все равно слышал. Говорили ли они обо мне? Всегда ли его брат такой молчун — не об этом ли спросила Шеннон у Карла? И, как ему показалось, — понравилось ли Рою приготовленное ею чили кон карне? И понравился ли этому молчуну подарок, который она с таким трудом достала через родственников, — старый автомобильный знак с Барбадоса? И она сама — неужто его брату она вообще не понравилась? И Карл отвечал, что Рой со всеми такой, ему лишь требуется время, чтобы привыкнуть. Она, как она сама сказала, думает, что Рой ревнует, он наверняка считает ее разлучницей, отнявшей у него единственную ценность — младшего брата. А Карл рассмеялся и, погладив ее по щеке, сказал, что она тут всего день, а для подобных подозрений этого недостаточно и что все пройдет. И она положила голову ему на плечо и сказала, что он наверняка прав, но хорошо, однако, что он, Карл, на брата

не похож. Странно, что в такой стране, как Норвегия, где и преступности-то считай что нет, люди бывают такими подозрительными, словно боятся, что их со всех сторон облапошат.

А может, они трахались.

В маминой и папиной кровати.

Мне бы утром за завтраком спросить: «И кто был сверху? Небось тот, кто старше?» — и посмотреть, как они рот разинут. А потом выйти на улицу, на резкий утренний холод, сесть в машину, поднять ручной тормоз, взяться за руль и смотреть, как приближается Козий поворот.

Снаружи послышалась птичья трель, красивая и печальная. Ржанка. Одинокая горная птичка, маленькая и серьезная. Птичка, которая летит следом, присматривает за тобой, но всегда держится на безопасном расстоянии. Как будто боится подружиться с кем-то, но при этом ей нужен кто-то, кому можно будет спеть про одиночество.

2

На заправку я приехал в половине шестого, на полчаса раньше, чем обычно по понедельникам.

Эгиль стоял за стойкой. Судя по виду, он совсем вымотался.

— Здравово, начальник, — сказал он невыразительно. Эгиль — прямо как ржанка, у него все слова на одной ноте.

— Доброе утро. Тяжелая ночь?

— Нет.

Он как будто не понимал, что вопрос, как говорится, риторический. Я-то знал, что дачники разъезжаются в воскресенье вечером, а ночью бы-

вает спокойно, и спросил я только потому, что пол возле бензоколонок был грязный. На круглосточных заправках есть правило, согласно которому если дежурный один, то из здания он не выходит, но я терпеть не могу беспорядок и грязь, а тут есть кодла малолеток-лихачей — они у нас на заправке и хот-догами закидываются, и курят, и телочек клеят, так что после них и окурки валяются, и обертки, и даже на презервативы, бывает, наткнешься.

Впрочем, и хот-доги, и сигареты, и презервативы они на нашей же заправке и покупают, поэтому я малолеток не гоняю, пускай себе сидят в машинах и смотрят, как мир проносится мимо. Вместо этого я обязал ночную смену по возможности прибираться. В туалете для сотрудников я повесил плакат, в который утыкаешься, когда садишься на унитаз. СДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ. СДЕЛАЙ ЭТО СЕЙЧАС. Эгиль, видать, думает, что это про дерьмо, — мол, смой за собой, но я столько раз повторял про уборку и про ответственность, что он, скорее всего, мой намек про тяжелую ночь понял. Однако Эгиль мало того что устал — он обычный паренек лет двадцати, которого так часто шпыняют, что ему уже все по барабану. А когда хочешь, чтоб от тебя отвязались, то притвориться слегка тупоумным — тактика не самая глупая. Поэтому не исключено, что Эгиль не особо и тупой.

— Рано вы, начальник.

«Да уж, не успел ты возле колонок помыть, а теперь обмануть меня и сказать, что так всю ночь и было, не получится», — подумал я.

— Не спалось, — ответил я, после чего подошел к кассе и нажал кнопки учета выручки — так я закрыл кассовую смену. У меня в кабинете заработал принтер. — Иди домой отсыпаться.